

Виталий КОВАЛЕВ

ХОРОШАЯ НОЧЬ ДЛЯ ПОЛЕТА

Записки художника

Учитель

В детстве я не подозревал о существовании латышей. Впрочем, не подозревал я и о существовании всех остальных национальностей. Слишком близок я был к тому состоянию, в котором пребывал Адам, видящий все впервые, ничего не знающий и дающий всему свои имена.

Один из приходивших в наш дом гостей заинтересовал меня тем, что говорил на непонятном мне языке. Одно слово он произносил особенно часто — *paldies* (спасибо — латыш.). Я стал его звать — дядя *Paldies*. Он не возражал и был единственным из гостей, кто замечал меня и играл со мной. А еще он рисовал в моем альбоме. Иногда он брал мою руку, держащую фломастер, и начинал водить ею по белому листу. Так мы рисовали вместе. При встрече этот удивительный человек протягивал мне руку для пожатия. Мне это нравилось. Ладонь его была теплая и сильная.

Так случилось, что долгое время мы не виделись. За это время я поступил в художественную школу, и когда был в девятом классе, отец решил, что мне не помешает дополнительно поучиться. Он дал мне адрес мастерской своего друга, профессора Академии художеств.

Им оказался мой друг из детства. Я с удивлением обнаружил, что он хотя и постарел, но такой же высокий, с прямой спиной и пристальным взглядом из-под белых бровей. Просмотрев мои рисунки, он покачал головой и, вздохнув, сказал:

— Ты не умеешь рисовать! Посмотри, как ты рисуешь глаз! Глаз — это шар, его обтягивают веки, у глаза есть два уголка, надо знать, как они устроены. Посмотри, как ты рисуешь нос! Нос строится из плоскостей. Где они у тебя? А губы! Где плоскости? В общем, приходи ко мне через каждые два дня и... держись!

Начались занятия. Он заставлял меня рисовать отдельные части лица, он чертыхался, срывал лист с мольберта, садился на мое место и показывал, как надо рисовать. У него была странная манера отмечать конец занятия резким хлопком в ладоши. Причем делал он это за моей спиной и так неожиданно, что я подскакивал и порой ронял карандаш.

Виталий Васильевич Ковалев родился в 1957 году. Окончил Рижскую художественную школу имени Яна Розенталя и Латвийскую государственную академию художеств имени Теодора Залькална (отделение книжной графики). С 1981-го по 1991 год работал главным художественным редактором в издательстве «Zinatne» Академии наук Латвийской ССР. Публиковался в журналах «Eva & Adam» (Латвия), «Волга XXI век» (Саратов), «West/East» (Лос-Анджелес, Калифорния), «Приокские зори» (Тула), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф), «Дальний Восток», «Кольцо А» (Москва) и др. Живет в г. Юрмале.

Это он? Тот самый человек? Я его не узнавал. Уходя от него, я скрипел зубами от злости. От урока к уроку я ненавидел учителя все больше и, когда готов уже был отказать от занятий, с удивлением обнаружил, что стал рисовать гораздо лучше.

— Семь потов я с тебя согнал, — говорил он удовлетворенно, похлопывая меня по плечу. — Не сердись. Еще спасибо скажешь...

В Академию художеств я поступил с первого раза. Он шесть лет преподавал нашему курсу рисунок и композицию и был одним из самых строгих учителей. По окончании Академии художеств пути наши то пересекались, то расходились, но вот они пересеклись в последний раз.

Однажды от встреченных на улице сокурсников я узнал, что у моего учителя инсульт. Этим же вечером я пошел в больницу. Я вошел в палату номер тринадцать, в которой без сознания лежали и мужчины, и женщины. На пороге вечности, перед которой они находились, не было между ними уже различий.

Он лежал у окна, тело его онемело, за исключением правой руки. Она была поднята вверх и совершала в воздухе быстрые круговые движения. Его рука рисовала! Это было так ужасно!

Я подошел и взял его за руку, как когда-то, в детстве он брал меня. Наши руки совершали круговые движения, мы вместе рисовали его последнюю картину.

Безжизненное лицо учителя на миг оживилось. Он как будто во что-то вглядывался в своем, далеком уже от нас мире. Наверное, он почувствовал, что кто-то коснулся его, и успокоился. Рука его опустилась на кровать.

Я шел по улице, снег хлестал меня по лицу. Было так горько оттого, что я так и не успел сказать ему, что я его люблю.

Янтарь

— Виталик! Виталик! Мы идем проводить гостей и скоро вернемся. В комнату не заходи, там сквозняк.

Захлопнулась входная дверь, и я остался в доме один.

«Сквозняк? — подумал я. — Что это? Слово такое страшное!»

Я заглянул в комнату, но никого в ней не увидел. И под столом никого нет. Может, закрыть окно? Вдруг Сквозняк влетит в него!

На праздничном столе осталось много еды. Я съел кусочек колбасы, сыру, зачерпнул ложкой салат из большого блюда. И тут, словно впервые, увидел потолок. Он был белый, ровный, гладкий. Взгляду не на чем было остановиться, и у меня закружилась голова. И тогда, наколотив на вилку кусок селедки, я швырнул селедку в потолок. Мне стало легче. В потолок полетел еще один кусок, еще и еще... Я, как зачарованный, смотрел на появляющиеся на потолке пятна...

Открылась дверь, появился папа и увидел, что я делаю. Еще несколько мгновений, и он, с ремнем в руке, тащит меня в другую комнату. Но руку мою кто-то вырывает из папиной руки, и я слышу бабушкин голос:

— Не смей его бить, — кричит она, — этот ребенок необыкновенный!

Бабушка моя! Я знаю, что она специально так говорит, чтобы спасти меня. Я держу ее за руку и иду с ней в ее дом, у самого моря. Время от времени я вытираю слезы об ее теплую руку.

— Ты зачем это сделал? — говорит она строго.

— Я не знаю.

— Ты должен понимать, что делаешь. Скоро же в школу пойдешь...

— Бабушка, этот потолок меня испугал. Я не люблю, чтобы все было белое и ровное.

— Этого я не понимаю, — вздохнула бабушка. — Врачам, что ли, тебя показать?..

Мы идем по лесной дороге, я смотрю вверх, и между верхушками сосен вижу белое облако. И еще вижу чайку, парящую в небе. Из-за облака выглянуло солнце, и я улыбнулся. Мне стало так хорошо, что я прижал бабушкину руку к лицу и вытер об нее последнюю слезинку.

— Я куплю тебе большой альбом, — сказала бабушка. — Там будет много белой бумаги. Можешь на ней рисовать, можешь бросать в нее сеledку... Горе ты мое, горе! Никто тебя не поймет! Что из тебя вырастет? Ну, а мой потолок тебе нравится?

— Да, бабушка, на нем трещинки.

— Слава богу! Иди лучше на море, но далеко не уходи. День-то какой хороший!..

Я сбежал по горячему песку с дюны. Передо мной шумит море, солоноватый ветер овеивает лицо, грудь, руки... Мне так легко дышится! И еще я почувствовал, что сердце мое быстро забилося! Как хорошо вдруг стало! И так же быстро все прошло. Я один стою на продуваемом ветром пляже, шумят волны, и мне стало так одиноко, что снова выступили слезы. А ведь только что было так радостно... Наверное, я думал тогда о чем-то хорошем. Я пытаюсь вспомнить, о чем же я думал, но не могу. Куда же все ушло?

Я посмотрел в небо и не увидел белого облака. И чайку тоже я не увидел. Куда бы я ни смотрел, небо было чистым, голубым, ровным, гладким. И я не стал на него больше смотреть.

Что-то яркое сверкнуло в темном иле, у самой воды. Я подошел поближе и на почерневших от солнца водорослях увидел большой кусок янтаря! Я взял его в руку и стал разглядывать. Он был как мед, он был как солнце, а еще он был теплый. Я прижал его к щеке. Да, теплый! Я спрятал янтарь в карман и пошел вдоль моря, разгребая палочкой ил. Внезапно мою ногу пронзила острая боль.

— А-а-ай! — вскрикнул я и запрыгал на одной ноге.

— Мальчик, что с тобой? — услышал я голос, оглянулся и увидел девочку, сидящую на голубой скамейке у воды. Волны с шипением выкатывались на берег до самых ее ног.

— Я наступил на казарагу! — ответил я и допрыгал на одной ноге до лавки.

— Тебе больно? — спросила девочка.

— Немножко! Она же колючая.

— А разве в море бывают казараги?

— Они заплывают из реки. Вон там, — показал я рукой вдоль берега, но девочка почему-то не посмотрела туда.

— Мальчик, а ты не можешь, когда у тебя не будет болеть нога, найти мне красивые ракушки? Я нашла, но, наверное, они не очень красивые.

Она протянула ко мне свою руку и показала браслетик из ракушек на нитке. Да, ракушки были темные, некрасивые, с отколотыми краями.

— Почему ты сама не можешь собрать? Вон они везде валяются.

— Я ничего не вижу!

— Совсем ничего?

— Совсем.

— И ты никогда ничего не видела?

— Конечно, видела. Я все видела. Это у меня с прошлого лета. Я тогда заболела, и все стало... черным, — и, чуть подумав, девочка спросила: — А какой ты?

— У меня темные волосы.

— А еще?

— Не знаю. Больше ничего.

- Можно я их потрогаю? — спросила она и протянула руку.
- Она коснулась моих волос, уха, и мне стало щекотно.
- А как тебя звать? — спросила она.
- Виталик.
- А я Алина. Давай пойдем купаться. Я только маме крикну.
- И она, повернувшись в сторону пляжа, крикнула: «Мама!» — и замахала руками.

И вот мы лежим с Алиной на искрящемся от солнечных лучей мелководье. По лицу девочки пробегают солнечные блики, мелкие волны с шипением перекатываются через нас, а когда они стихают, я вижу, как у ребристого песчаного дна проплывают стайки быстрых мальков. Алина смеется и смотрит на меня, но не совсем на меня, а чуть в сторону. Я беру ее за подбородок и поворачиваю ее лицо к себе.

А потом мы с ней бежим за дюны, поросшие ивовыми зарослями.

- Виталик, тут должно быть синее покрывало.
- Вон синее покрывало.

Алина встает на покрывало, снимает трусики и быстро переодевается.

— А ты любишь клубнику с сахаром? — спрашивает она. — У меня есть целая банка. Ты можешь съесть клубнику, а сок оставь мне.

Щурясь от солнца, я большой ложкой ем клубнику, а потом Алина выпивает сок и облизывается. В уголке ее губ осталась капелька клубничного сока.

- Давай ляжем и будем смотреть в небо, — предложил я.
- Давай, только ты расскажи, какое сегодня небо. Иначе я не смогу его увидеть.

Мы лежим на спинах, над нами чистое голубое небо. А иногда кажется, что это бездонная пропасть и мы летим в эту пропасть, падаем в нее...

- Какое оно? — прошептала Алина. — Я очень давно не видела небо.
- Оно голубое. И... оно чистое-чистое, гладкое-гладкое...
- Это так красиво, правда? — сказала она.

Я посмотрел на небо — голубое, бездонное — и почувствовал, что да, оно очень красивое!

И тут я услышал, что Алина плачет.

- Что ты плачешь? — спросил я ее.
- Я... плачу... потому что мы все умрем!
- Как? — прошептал я, потрясенный. — Разве мы умрем?
- Да. И нас больше никогда не будет. Все умирают.
- А может, мы с тобой не умрем? Может, умирают только другие?

Она покачала головой. Мы лежали на спинах и плакали. Слезы заливали наши лица, стекали к шее, ушам, капали на синюю подстилку. А мы все плакали и плакали, нам было так плохо от мысли, что мы умрем!..

Но зашумели на ветру заросли ивняка. И мы снова услышали голоса людей, крики чаек, шум моря. Солнце быстро высушило наши слезы.

- Пойдем собирать тебе ракушки, — сказал я, вытирая глаза.
- А здесь бывает янтарь?
- Иногда бывает.
- Я бы хотела найти янтарь.

— Это трудно. Но я могу тебе помочь. Ты будешь разгребать ил, а я буду смотреть. Еще ты можешь шупать ил руками. Если почувствуешь твердое, то это янтарь.

Алина разгребает ил, а я ищу янтарь. Мне очень хочется найти его для нее.

- Нашла! Нашла! — смеется она, подпрыгивает и сжимает что-то в руке.

Я поднялся и увидел, что в руке она держит кусочек черного каменного угля. Девочка была такой счастливой, она так радовалась!..

Я посмотрел на ее лицо и впервые заметил маленькие сережки в ее ушах. Они были в виде цветочков. Лепесток на одном цветке был сломан. Я увидел выпавшую ресничку на ее щеке и в уголке рта засохшую капельку клубничного сока. И еще я увидел ее браслетик с почерневшими ракушками.

Пенистая волна с шипением разлилась за ней по песку, и я подумал, что могу протянуть руку и толкнуть ее в эту воду. Она упадет... И я протянул руку и выбил уголь из ее руки.

— Это простой уголь, — сказал я. — Давай искать.

— Я не найду, — сказала она, прикусив губу, слезы выступили на ее глазах, — я никогда не найду, потому что я слепая!

— Я помогу тебе, вот садись, трогай ил рукой, ищи...

Алина вдруг посмотрела на меня. Вернее, она посмотрела не на меня, а куда-то чуть в сторону, за мое плечо. Я взял ее за подбородок и развернул ее лицо к себе. Теперь она смотрела прямо в мои глаза.

— Я тебя вижу! — прошептала Алина.

— Ты выздоровела?! Ты стала видеть?

— Нет, все черное, но я вижу тебя!

— Какой я?

— У тебя темные волосы... И еще ты такой хороший! — сказала вдруг она, улыбнувшись.

— Дай руку, — сказал я ей, — мы будем искать вместе. Щупай ил.

— Я никогда его не найду!

— Найдешь, — сказал я, доставая из кармана шорт мой большой, драгоценный янтарь.

Я еще раз посмотрел на него. Он такой красивый! Я никогда еще не находил такой большой янтарь. А потом посмотрел на Алину, на ее странные серые глаза, на сломанную сережку, на сахаринки у ее губ и положил янтарь на ил.

— Дай руку, — сказал я Алине, — сейчас ты найдешь его.

— Найду?

— Да. Щупай ил, чуть дальше, еще немного... Сейчас ты найдешь его. Он такой красивый! Он как солнце! Ты уже почти его нашла... Алина, бери его...

Искатели

Летним жарким утром с миской в руках я подошел к клубничным грядкам и тут только заметил соседскую девочку Иру. Она стояла за забором под вишневым деревом и громко плакала.

— Ты чего, Ирка? — спросил я.

— Меня сегодня заставляют собирать вишни для варенья, — всхлипнула она. — А я... почему-то не хочу работать...

И она залилась горькими слезами.

Две косички, вздернутый носик, испачканный чем-то желтым, видать, нюхала какой-то цветок, и голубые, как небо, глаза.

Сорвав большую клубничину, я отправил ее в рот, а потом стал собирать ягоды в миску.

— Не плачь, Ирка, — сказал я. — Пойдешь сегодня за рыбой? Давай вместе пойдем.

— Я у мамы спрошу, — ответила она, шмыгая носом, и, протянув руку вперед, выстрелила в меня вишневой косточкой.

На кухне бабушка жарит оладьи. Я поставил миску с клубникой возле нее и сел за стол перед стопкой оладий на широкой тарелке. Отпивая кофе с молоком, я поверх кружки посмотрел на фотографию на стене. На снимке папа и мама были еще совсем молодые. Папа в офицерском кителе с погонами, мама в шляпке и черном каракулевом пальто.

— Бабушка, а я тогда еще не родился? — спросил я, показывая на снимок.

— Нет. Это сорок четвертый год, в Краснодаре. Вася тогда после ранения приехал, — ответила бабушка. — Мы с Вале́й как увидели его, так аж испугалась. Худой стал и страшный, как... немец. Пять операций перенес. Осень уже была, а он в одном кителе приехал, так я ему тужурку из ваты пошила. Я тогда в больнице работала. Три дня он пробыл у нас и уехал.

Я слушал бабушку и думал о том, что если бы папу на войне убили, то меня бы не было. Самым обидным мне казалось то, что никто бы даже и не знал об этом.

После завтрака мы с Ирой пошли за рыбой. Я нес обе наши сумки, а Ира, цепляя на кончик хвостины шишки, пуляла ими в соседские дворы.

— Подожди меня тут, — сказал я Ире, оставив ее с сумками на дороге, и вошел во двор Карла Фрицевича.

Из-за невероятно широких плеч мы звали его Человек-Шкаф. Карл Фрицевич был другом моего папы, он научил меня привязывать к леске крючок, ловить донкой линей и часто брал с собой на ночные рыбалки. Папа мне рассказал, что в войну Карл Фрицевич служил в войсках СС. Его призвали в шестнадцать лет, когда наши войска уже подошли к Риге, но воевать ему не пришлось — он сразу же попал в плен. А потом он семнадцать лет был в лагере в Сибири.

— Карл Фрицевич, а вы сделали мне лук? — спросил я, подходя к нему под навес сарая, где он сколачивал козлы для пилки дров.

Он посмотрел на меня и шлепнул огромной ладонью себя по лбу.

— *Es aizmirsi!*.. (Я забыл! — латыш.) — воскликнул он. — Пойдем срежем орешник. А ты почему по-латышски не говоришь?

Он взял с лавки большой нож, и мы вошли в заросли орешника за сараем. Лучи солнца пробивались сквозь светящиеся на солнце листья.

— Вот эта подойдет, — показал он на гибкий побег молодого орешника. — Будет в самый раз.

Он присел, подрезая побег, пятна света скользили по его мощным рукам. Я коснулся его широкого плеча.

— Дядя Карл, а вы всегда были таким сильным? — спросил я.

Он чуть помолчал, а потом сказал:

— Нет. Сначала был такой, как ты. Работай больше и будешь сильный. Чтобы был не Арбат, — кивнул он головой на поджидавшую меня на дороге Иру, — а *Arbeit*... Ну-ка покажи свои мускулы...

Он взял мою руку, согнул ее в локте и измерил бицепс, приложив к нему рукоятку ножа.

— Через месяц посмотрю снова. Дрова коли. Почему дрова не колешь? Ждешь, когда папа сделает? Передай Василию привет!..

— Хорошо, дядя Карл, я передам. *Uz redzešanos!* (До свидания! — латыш.)

— Пойдем через лес, — предложила Ира, когда я вышел к ней на дорогу, — заодно в моховичник заглянем.

— Опоздаем за рыбой.

— Да мы быстро. Посмотрим только, есть грибы или нет.

Мы вошли в лес. Высокие неподвижные папоротники доходили нам до пояса, а иногда и до плеч. В их густой зеленоватой тени мы заметили желтоватые шляпки грибов.

— Смотри, как много! — восторженно выдохнула Ира. — Когда вернемся, сходим за грибами.

Мы присели и стали разглядывать грибы. Веер солнечных лучей пронизывал гулкое пространство леса, озаряя шершавые стволы сосен. Золотая мошкара роилась в лучах света и исчезала, как только попадала в тень. Здесь было очень тихо, только далеко-далеко слышался голос кукушки.

— Давай считать, сколько лет мы проживем, — сказала Ира.

— Не надо, Ирка!.. Я не хочу это знать...

— А правда, здесь похоже на Рай? — прошептала она. — Мне мама рассказывала. Там было хорошо, и все дикие звери жили там дружно.

— Открой тебе тайну? Только не говори никому. Я знаю, что Рай есть и сейчас. Я знаю, где он.

— Где? — продышала тихо Ира.

— Прямо над нами. Рай остался на верхушках деревьев. Изменилось все только внизу, а там, наверху, ничего не меняется. Все точно такое же, как было тогда. Я однажды залез на дерево и почувствовал это. Там все совсем другое. И птицы чувствуют это, потому они и любят вершины деревьев и вьют там гнезда.

— Жаль, что я не могу залезть на дерево, — грустно произнесла Ира. — Но я, кажется, и отсюда что-то чувствую.

Мы смотрели на верхушки сосен, качающиеся на ветру, и слушали шум леса.

— Мы опоздаем! — спохватилась Ира.

По тропинке мы добрались до опушки леса и увидели море. Сегодня оно было желтовато-янтарным.

— Они уже здесь! — крикнула Ира и, скинув платье на песок, побежала к воде. Я с сумкой побежал вслед за нею, но на берегу остановился. Ира заходила все дальше и дальше в воду. Волны били в ее колени, потом в живот, в грудь... Подняв высоко вверх свою сумку, она добралась до второй мели, за которой покачивались на волнах рыбацкие лодки. Прямо в воде люди покупали у рыбаков больших копченых угрей, камбалу, жирную скумбрию, золотистую копченую салаку и свежего лосося.

Все еще стоя на берегу, я увидел в море волну и стал смотреть, как она движется ко мне. Ветер сбивал с ее гребня белую пену, волна с шумом катилась по морю, и казалось, что до берега ей еще очень далеко, но прошло несколько мгновений, и волна выкатилась на берег. Глядя на пузыри пены на песке, я вдохнул свежий морской ветер, услышал крики чаек и далекий голос Иры, звавшей меня. И в этот миг я почувствовал что-то очень пронзительное и запомнил это на всю жизнь.

Отец уходит

С сильным порывом ветра по лесу прошла волна соснового шума и стихла. Папа идет со мной по лесной дороге, под ногами я вижу шишки, серые бугры корней, а сбоку дороги под еловыми ветвями замечаю желтую сыроежку. После утреннего дождя в ее загнутой кверху шляпке собралась вода, и плавает в ней желтый березовый листок. Совсем как в рассказе Пришвина, который папа мне читал.

Садится солнце, а золотые пятна света, наоборот, поднимаются по сосновым стволам, чтобы, добравшись до самых вершин, погаснуть.

Взяв папу за руку, я смотрю на него снизу вверх и вижу, что он о чем-то думает.

Я прижался щекой к его руке и вспомнил, как весной умерла тетя Катя. Я сидел тогда на кухне и прислушивался к тому, что происходит за закрытой дверью, где лежала тетя. И вдруг услышал мамин крик. Мне показалось, что в той комнате появилось что-то ужасное, чего мама очень испугалась и закричала: «Нет-нет-нет!»

За дверью послышалась возня, и мне снова показалось, что мама изо всех сил держит тетю Катю, чтобы не отдать ее тому страшному, что появилось в комнате и хочет ее забрать.

Мама вышла заплаканная и оставила дверь открытой. В проеме двери я ничего страшного не увидел. Я увидел только окно, а за ним облако с озаренным солнцем краем.

На замшелой ветке дерева я заметил белку и хотел было показать ее папе, но он остановился, отпустил мою руку и сказал:

— Я что-то устал. Ты пойди сам на море.

— Папа, я хотел с тобой.

— Давай я возьму твою корзинку и пойду домой. А ты иди дальше сам.

Папа пошел назад, а я один побрел к морю, которое было уже совсем близко и ровно шумело за деревьями. Оглянувшись, я стал смотреть папе вслед, ожидая, что он оглянется. Но он, то попадая в полосу света, то заходя в густую тень, уходил все дальше и дальше и вскоре скрылся за поворотом дороги. Он так и не оглянулся на меня.

Я остался на дороге один и не мог понять, почему же папа так устал. Я, например, не устал ни капельки. И словно желая доказать себе это, быстро взбежал на крутой гребень дюны и там с высоты вдохнул всей грудью аромат шумящего моря. Радость охватила меня. Я не мог понять, отчего мне стало так хорошо. И вдруг понял. Сегодня был тот редкий день, когда море пахнет арбузом. Двигутся по морю волны с белыми гребнями, веет душистой прохладой, и кажется, что передо мной совсем не море, а раскинувшийся во весь горизонт, прохладный, свежерезанный арбуз.

Камень для Принцессы

На маленькой площади у железнодорожной станции светловолосая Принцесса, как окрестные мальчишки прозвали Зане, продавала квас из желтой бочки на двух колесах.

Свет искрился в капельках воды на ее руках, а кружки на вращающейся мойке сверкали, как драгоценный граненый хрусталь. Жаркое июльское солнце, чайки в небе, собака, лающая из окна второго этажа деревянного дома, а на груди Принцессы, в разрезе платья, поблескивают капельки пота. Подходят электрички, падает на асфальт у кого-то с палочки эскимо, синее в лужах небо.

Однажды мы, прячась от дождя, забежали под навес над крыльцом ее дома, и когда Зане позвала нас в дом, я с удивлением подумал: разве взрослые такими бывают?!

— Давайте кидаться подушками! — воскликнула Зане и запустила в нас подушкой.

Оказалось, она любит кидаться подушками! К нашей радости, у нее их было много, и подушки летали по ее комнате, словно белые чайки над морем. В прохладе полутемной комнаты блестели ее карие глаза, и тепло светились в ушах янтарные капельки-сережки. Они были медового цвета, и казалось, что хранили в себе солнечный свет. А когда Зане угостила нас прохладными сладкими варениками с вишней, мы окончательно поняли, что она — настоящая Принцесса.

Она показала нам в глубине леса, на вершине сосны, огромное «ведьмино гнездо». А мы научили ее свистеть монетой, зажатой между пальцами, и показали, как, нате-

рев монеты морским песком, можно превращать две копейки в десять, а три копейки — в двадцать.

Соседом Зане был старик скульптор. Однажды по ее просьбе он повел нас под деревянный навес, в котором работал. Здесь стояло множество скульптур из глины и гранита. Мы обратили внимание на большой кусок гранита с вкраплениями сверкающей слюды.

— Зане, это твой камень, — сказал скульптор. — Я сделаю твой портрет. Вот такая, как сейчас, ты мне нравишься: смотришь прямо, улыбаешься, а ветер развевает волосы. Ты уже живешь в этом камне, надо только убрать лишнее.

Каждый день, проходя мимо деревянного навеса, мы сквозь стебли крапивы и щели между досками забора смотрели — не началась ли работа. Но скульптор был слишком занят и все не начинал «убирать лишнее» с камня. Иногда, засыпая, я видел, как опадают куски гранита и проступает в камне лицо Зане.

По вечерам, проходя мимо ее дома, мы останавливались в прямоугольнике света, падавшего на траву из окна, и звали ее. Она быстро появлялась темным силуэтом на фоне освещенного окна, и мы любовались золотым контуром света на ее волосах. Из комнаты звучала музыка, лаяли собаки, далеко за лесом пахло дымом костра, и едва слышно шелестела листва орешника у дома. В темнеющем небе появлялись первые звезды.

А Принцесса продолжала продавать квас на станционной площади, и все так же проносились мимо электрички. И вот на одной из них приехал человек, которому захотелось в летний жаркий день выпить квасу. Казалось бы, пустяк, но мы, мальчишки, так потом не думали.

Осенью Зане уехала. Мы узнали, что она вышла замуж и уехала куда-то очень далеко. Уехала навсегда. И зачем только подошла та электричка! Зачем вышел из нее тот человек! Почему в тот день не шел дождь?..

Когда старый скульптор умер, его дом купил сосед. Так и нетронутый «Камень Зане» он поставил на траву у забора, чтобы машины не заезжали на газон. Этот камень и сейчас, десятилетия спустя, стоит на том же самом месте. Вчера, поздним вечером, я проходил мимо него и провел рукой по его холодной поверхности, мокрой от осеннего дождя. С тех пор прошло много лет, и теперь я, наверное, один еще помню, что это не простой камень, предназначенный для того, чтобы машины не заезжали на траву. Я все еще помню, что это чудесный портрет Принцессы. Она и сейчас, улыбающаяся, с развевающимися на ветру волосами, таится в глубине холодного камня. Чтобы увидеть ее, надо всего лишь убрать лишнее. Но только старый скульптор знал, как это сделать.

Хоста

Жаркий летний день в Хосте — курортном поселке у Черного моря. Мне четырнадцать лет. Я делаю акварель, укрывшись в тени пальмовых ветвей от жаркого солнца. Пальмы шелестят на теплом ветру, все вокруг меня испещрено пятнами света и тени.

На листе уже нарисованы небо и ряд кипарисов, между которыми сквозит полоса синего моря. В небе нет ни облачка, но на рисунке в моем альбоме плывут в небе белые облака. Я решил, что так будет лучше.

Моя акварель быстро высохла на теплом ветру. Укладывая работу в планшет, я услышал стук каблучков по асфальту, чуть приподнял голову, но успел увидеть только вспыхнувшее на солнце белое платье, скрывшееся за цветущим олеандром. Теплый ветер принес солоноватый аромат моря и еще что-то кружащее голову.

Собрав вещи, я быстро зашагал по дороге к вокзалу. На привокзальной площади, попивая крем-соду, купленную в киоске, я остановился и стал разглядывать приезжих, которых окружили местные жители, предлагавшие жилье.

Мое внимание привлекла молодая женщина в джинсах и белой майке. Она была милая, черноволосая, стройная. Ярко-красные губы на ее бледном лице были похожи на розу, брошенную на снег. Ее окружили трое молодых кавказцев и предлагали жилье. Один из них расхваливал свой дом, который, конечно же, стоит у самого моря. А цена... О цене не стоит беспокоиться... Зачем о цене говорить?.. О цене всегда можно договориться. Говорил только он один, а взгляды двух других мужчин, словно шарики от пинг-понга, металась между ее грудью и бедрами.

Мне было интересно, пойдет она с ними или нет. Она стояла и смотрела задумчиво куда-то вдаль. Но мне надоело ждать, пойдет она с ними или нет. Я отправился на пляж и быстро забыл о ней.

Вот и море. Я бреду по полупрозрачным камешкам мелководья, волны бьют по ногам и с шипением откатываются назад, в море, чтобы с новой силой ударить под колени. На берегу дети бросают в волны камешки, отдыхающие, которых с каждым днем становится все больше, загорают на топчанах. Вдоль воды идет продавец горячей вареной кукурузы и громко ее расхваливает. Я купил большой початок, посыпанный крупной солью, съел его и, скинув шорты, бросился в теплое море.

Под водой маленький краб бежит по розовым плоским камешкам. Я заметил, как по дну, покато уходящему в глубину, скользнула тень большой рыбы. Отталкивая рука медузы, я плыву все дальше, разглядывая каменистое дно, по которому скользят солнечные блики.

А потом улегся загорать на берегу, прижавшись щекой к горячим камням. Акварель сегодня у меня получилась, и настроение от этого было хорошим. Неподалеку от меня загорает на деревянном топчане женщина. Она немного похожа на ту, что я видел на станционной площади. «Интересно, пошла она с ними или нет?» — подумал я.

Я лежу на боку, разглядывая загорающую женщину, вижу, как живот ее чуть движется при дыхании. Все тело ее в капельках воды. Несколько капель светятся на солнце, а когда я прищуриваюсь, они искрятся тонкими лучиками.

Женщина провела рукой по своему животу и снова замерла на солнце. Я закрыл глаза и слушал, как волны разбиваются о прибрежные камни.

Чувствуя, как солнце пригревает спину, я подумал о том, что когда-нибудь встречу девушку, которую полюблю. Она ведь где-то есть. Прямо сейчас, в эту минуту, она видит это же самое солнце. Интересно, какая она? Как ее звать? Я представил, что она лежит на спине рядом со мной и живот ее чуть движется при дыхании. Мне захотелось коснуться ее тела. Я мысленно протянул к ней руку и вдруг почувствовал дуновение чего-то до того свежего и душистого, что закружилась голова. Я представил на миг, что это аромат ее волос, но я-то знал, что так пахнет ветер, дующий со стороны гор.

За рестораном на заросшем кипарисами холме я жил у армянки, которая в своем доме сдавала комнату. Мои родители жили рядом, в Доме творчества художников, но на два дня уехали к друзьям в Гантиади. Я не захотел ехать с ними и жил здесь один, чувствуя себя совершенно свободным.

Дойдя по крутой, поднимающейся в гору дороге до своего жилья, я прилег на кровать, прямо поверх одеяла, и стал читать роман «Униженные и оскорбленные», оставленный кем-то из предыдущих постояльцев. До чего же мне понравилось начало этой книги! Надо бы успеть прочитать ее до конца. Но вскоре меня сморило солн-

це, пробивавшееся сквозь виноградные листья, книга выпала из рук, и я не заметил, как заснул.

Когда снова открыл глаза, мне показалось, что прошла всего лишь минута, но увидел, что стало темнеть. И тут я вспомнил, что обещал Нино купить у ресторана сахарную вату.

Купив ее, я быстро поднялся к шоссе и, перейдя его, по узкой дорожке стал подниматься вверх на гору, к дому Нино. Темнело очень быстро. Я увидел свет в ее окне и, взобравшись на дерево, по толстой ветке пробрался к окну на втором этаже. Она ждала меня и улыбнулась, когда я протянул ей чуть подтаявшую сахарную вату. Она откусила кусочек, чуть обмазав себе кончик носа. Нино мне нравилась, и я даже два раза рисовал ее: темные большие глаза на худеньком лице, улыбающиеся губы и такой чудесный носик с горбинкой, что я старался не смотреть на него, чтобы не улыбнуться.

Нино что-то крикнула по-грузински в глубину дома и, повернувшись ко мне, сказала чуть гортанным голосом и с акцентом, который мне тоже нравился:

— Спускайся. Я сейчас.

Брат у нее был очень мускулистый. Нино он поднимал, как пушинку. Мне хотелось быть таким же мускулистым. Он появился в дверях, держа сестру на руках, усадил ее в коляску и, подмигнув мне, ушел в дом.

Я покатил ее, сидящую в коляске, вверх по узкой дороге. Нино иногда оборачивалась и спрашивала:

— Ты не устал?

Мне это не очень нравилось, сильного брата она об этом бы не спрашивала. Как жаль, что Нино не может ходить! Мы бы обошли с ней все здешние горы и все тропы.

Стало совсем темно. По обеим сторонам дороги за густыми деревьями светились окна домов, во дворах горели фонарики, в их свете в полупрозрачных гроздьях винограда виднелись темные зернышки. Из открытых окон доносилась музыка, слышались голоса, смех, шипение жарящейся пищи.

Мы поднялись на самый верх горы и увидели огоньки кораблей и россыпь огней тянувшегося вдоль моря города. Нино смотрела вдаль, словно на черную стену, преграждавшую ей путь.

Над морем сверкнула молния, и в этот же миг сухо зашелестели невидимые в темноте пальмы. Небо с грохотом раскололось над нами, раскаты грома укатились за горы, стихли во тьме. И хлынул дождь.

Я быстро достал из-под коляски большую клеенку, которую мы с Нино всегда брали с собой. Под клеенкой, укрывавшей нас, словно палатка, было так темно, что я не видел Нино, а только чувствовал ее дыхание.

Я приподнял край клеенки, и ветер тут же обдал лицо каплями дождя. Снова сверкнула молния. Нино улыбалась, ее лицо тоже было мокрым. Я хотел снова накрыться, но она остановила мою руку, посмотрела мне в глаза своими темными глазами. А я коснулся руками ее мокрых волос. А потом мы накрылись клеенкой, по которой еще долго колотили большие капли летнего дождя.

Ростовчане

Проснувшись, я почувствовал на щеке тепло солнечного луча, пробившегося между белыми занавесками. Комнату заливает теплый медовый свет, сладко пахнет разрезанным арбузом, и слышно, как на подоконнике переступают лапками и воркуют голуби.

— Все еще лежишь! — появляется в дверях дядя Коля, его карие глаза сверкают притворным гневом. — Нет, у дяди Коли ты так спать не будешь! Завтра подъем бу-

дет в шесть ноль-ноль. В четыре часа — учебный. Вставай! Позавтракаем и пойдем на рынок.

Расправившись с приготовленными тетей Верой жареными помидорами, залитыми яичницей, и напившись чаю, я вышел во двор, замкнутый с трех сторон каменными стенами невысоких домов, увитых диким виноградом. Окна квартир раскрыты, во дворе очень тихо, слышны только звуки пианино из окна на втором этаже.

Посередине двора высится каштан со старой, рассохшейся лавкой у ствола. Дворик старый, и стены домов облуплены. Мне рассказали, что место это особое и что жил здесь писатель Горький, когда он остановился в Ростове.

Я оглядываю двор и пытаюсь представить в нем Горького. Он не мог не бывать в этом дворе, так как только через него можно попасть в квартиры. А может, и эта лавка тогда была? Я коснулся ее руками — лавка очень древняя, дерево серое, омытое дождями, оно потрескалось так сильно, что в щели можно просунуть ладонь. Я думаю о том, что, возможно, на этой лавке сидел Горький и видел то, что сейчас вижу я. Он вдыхал этот же самый воздух и слышал эти же звуки летнего города.

Но мне надоело сидеть, я вышел со двора, перешел дорогу и, облокотившись на железные перила, за которыми начинался пологий спуск, выложенный бетонными плитами, стал смотреть на широкий разлет Дона. С реки дует теплый ветер, обещающий еще один жаркий день.

— Надо будет отвезти тебя в Зерноград, в нашу станицу, — сказал вчера дядя, — посмотришь, где мы с твоим папой родились. Тебя ведь, когда ты был совсем маленьким, возили туда, но ты вряд ли что-нибудь помнишь.

— Я помню, как мы срезали в поле подсолнухи, раскладывали головки на холстине и били их палками, а семечки потом ссыпали в мешки. И еще помню, как папин папа, когда мы кушали, стукнул меня деревянной ложкой по лбу. За что он меня стукнул, не помню.

Держась руками за перила, я смотрю на бетонный спуск, на котором так здорово играть в войну. Можно представлять, что ты отстреливаешься на крутом скате крыши или карабкаешься на высокую гору, устраивая привалы на опасном склоне. А внизу, чуть правее, на самом берегу реки, за небольшим домиком с надписью «Пиво. Раки», начинается дорожка вдоль Дона, где гуляют люди и продается вкусное «Ленинградское» мороженое — круглые батончики белого пломбира, залитые шоколадной глазурью с орехами. Рядом причал с корабликом, на котором мы часто переплываем на другую сторону Дона, туда, где желтеет полоска городского пляжа. Там так хорошо лежать на горячем песке, есть виноград и слушать дядины рассказы!

Наконец вышел из дома дядя, и мы пошли на рынок. Несколько раз я терял его из виду. То глядя, как выгружают из машины огромные астраханские арбузы, то наблюдая, как кавказец, продававший со скучающим видом красный перец «огонек», брал стручок и, откусив половину, задумчиво его жевал...

Дядю я увидел неподалеку от женщины, продававшей семечки.

— Почем семечки? — спрашивает у нее дядя.

Услышав цену, он усмехается:

— Это что, вместе с продавщицей? — спрашивает он, смеясь. Та тоже смеется, а мы, купив семечки, идем дальше выбирать больших, жирных рыбцов с икрой, отливающих на солнце червонным золотом, пахучие пучки укропа с семенами и красный злой перец «огонек», который купили у того самого кавказца.

У киоска с газировкой под полосатым зонтиком дядю заметил его приятель и предложил купить куртку для рыбалки. Пока я пил газировку с вишневым сиропом, дядя примеривал куртку — крутился, двигал руками, приседал и, отрицательно покачав головой, сказал:

— Нет, не годится. В коленках жмет.

Продавец улыбается и снижает цену. Я заметил, что на этом рынке все торгуются и довольно весело проводят время.

Вокруг слышатся смех и говор людей, звяканье ведер, звон ослепительно блестящих пореформенных монет, которые покупатели бросают на чашечки весов. Голову кружит сладкий аромат разогретых солнцем спелых груш с полупрозрачной корочкой и резкий запах сушеной рыбы, золотом горят огромные головки невероятно сладкого и совсем нежгучего лука, а в ящики с сетчатыми бортами высыпает из мешков шуршащих, толкающихся раков болотного цвета со светло-розовыми ножками.

Купив целое ведро раков, мы возвращаемся домой, и дядя начинает готовить их к варке: хорошенько промывает, укладывает в ведро как можно больше укропа и заливает водой с раствором соли, чтобы раки «напились» и не были пресными после варки.

Я вышел во двор, сел на лавочку под каштаном, в качающемся по земле кружеве тени, и снова вспомнил о Горьком. Я никогда не узнаю, о чем он думал, но я точно знаю, что он видел. А видел он эти стены, оплетенные виноградом, и, конечно же, видел облупленные рамы окон, отражающих небо и белых голубей над крышами.

Я сидел в тени, но даже сквозь листву меня обдавало таким жаром, что чуть кружилась голова.

С улицы, во двор вошел невысокий, крепко сбитый мальчишка в кепке, надвинутой на самые глаза, и худенькая черноглазая девочка в легком желтом платье. Он глянул на меня со злым озорством и, сплюнув, присел передо мной на корточки. А девочка села рядом со мной на лавку и стала разглядывать свою разбитую коленку.

— Это ты, что ли, приезжий? — спросил мальчишка, внимательно меня разглядывая.

— Наверное, я.

— Говорят, на художника учишься?

— Я только поступил в художественную школу.

— Хм! — хмыкнул он и сплюнул. — А звать тебя как?

— Виталик.

— Ну, держи лапу, Виталик! Я Вовка, а вот она — Оля, сестра моя.

— Я знаю, мне дядя Коля вчера сказал, когда вы через двор шли. Вы этажом выше живете.

— Дядя Коля — козырный! Он нас без денег в кино пускает. Раз даже к себе пустил, откуда он кино крутит. Повезло тебе, что он твой дядя, а то бы ты сейчас от меня «леща» получил.

— Какого леща?

— Ладно, художник, не боись. Давай в игру сыграем. Деньги есть? Клади на лавку двадцать копеек... Говори какое-нибудь число.

— Двадцать, — сказал я.

— Двадцать одно, — сказал Вовка. — У меня больше, я выиграл!

И он, засмеявшись, сгрел мои деньги.

— Отдай ему, — толкнула его в спину Оля.

— Да ладно, пусть берет. Не нужны мне его деньги. Какой же ты лох! — сказал мне Вовка. — Слушай, какие у тебя блестящие монеты! Покажи-ка!

Я достал из кармана горсть монет и раскрыл ладонь, показывая их ему. Вовка стукнул по моей ладони своей рукой, сложенной вертикально трубочкой, и все мои деньги мгновенно оказались у него в руке.

— Опять лоханул я художника, — захохотал он, хлопая меня по спине. — У вас в Риге все такие простые?

Некоторое время я смотрел на его физиономию и молчал.

— Я знаю фокус, — сказал я ему. — Могу показать. Только папироса нужна.

— Не вопрос.

Вовка, не сводя с меня глаз, с ленцой достал пачку и протянул мне одну папиросу.

— Ну, вот тебе папироса, — сказал он насмешливо. — Хочешь курнуть? Кашлять не будешь, художничек?

— Смотри, что сейчас будет, — сказал я, беря папиросу в рот, — ну-ка дунь посильнее на папиросу.

— И чего будет?

— Она зажжется.

Вовка подумал, недоверчиво глядя на меня, приблизился ко мне и раскрыл рот, набирая побольше воздуха. И тут я дунул в мундштук папиросы с такой силой, что весь табак вылетел Вовке в рот... Он закашлялся, а я бросился бежать через двор к двери дома. Но Вовка успел догнать меня и повалил на землю. Через миг, все еще кашляющий, он сидел на мне и держал меня за горло.

— Отпусти его! Отпусти! — дергала его за шиворот Оля и вдруг так стукнула по голове, что с него слетела кепка.

Я посмотрел ему в лицо и с удивлением увидел на его мокром от слез лице улыбку. Он еще раз кашлянул, сплюнул и рассмеялся.

— Козырно! — сказал он и отпустил мое горло, все еще продолжая сидеть на мне. — А еще чего-нибудь знаешь?

— Ребята, — послышался из окна голос дяди, — быстро все обедать.

— Дядя Коля, спасибо! — ответила Оля. — Мы уже домой собрались идти.

— Разговорчики в строю! Быстро руки мыть! Через пять минут — переключка!

За обедом мы ели борщ, макая стручки красного перца «огонек» в соль и откусывая небольшие кусочки, как тот кавказец на рынке. За окном резко потемнело, хлопнуло от поднявшегося ветра окно, через которое видно было, как во дворе тетя Вера снимает с другими женщинами с веревки трепещущее на ветру белье и кружится под деревом крохотный песчаный смерч. Двор осветила яркая вспышка, оглушительно грохнул гром, и ворчливыми раскатами покатился за Дон.

— Как папа? — спрашивает у Вовки дядя.

— Ничего, — отвечает Вовка, прихлебывая борщ, — ходить ему только тяжело. Вчера весь вечер письмо писал.

— Что за письмо?

— В Москву, к какому-то маршалу. Написал, мол, как же так, немцы войну проиграли, а живут лучше нас! Мы вон вчетвером в одной маленькой комнате. А ведь он и ранен был, и орденов столько!.. Как думаете, дядя Коля, дадут нам еще одну комнату?

— Должны дать. Вера, налей детям еще борща...

Тетя Вера ставит на стол большое блюдо с красными вареными раками. Мы с Олей и Вовкой быстро справляемся с клешнями. Оказалось, что они, как и я, любят их больше всего. А потом дядя Коля разрезал арбуз, трескающийся от спелости, но на арбуз у нас уже сил не хватило.

— Дядя Коля, а почему вы нас без денег в кино пускаете? — спрашивает Оля, вытирая поданным тетей Верой полотенцем губы и щеки.

— А потому, что вы мне соседи.

— И только поэтому?

— А еще потому, что я тоже был маленьким.

— А расскажите что-нибудь про то, как вы были маленьким. Фотография у вас есть?

— Какие там карточки! — махнул он рукой. — Мы с Васей, его вот папой, коней тогда пасли. Чуть ли не весь год босиком ходили. Вы вот спрашиваете, почему я вас бес-

платно в кино пускаю... А мне вспоминается, как послал меня отец с каким-то поручением в соседнюю станицу. Было мне лет шесть. Жара была страшная, кругом поля, нигде никакой тени. А идти надо было километров десять в один конец. И вот иду я... Вдруг слышу стук копыт. Нагоняет меня всадник, какой-то совершенно неизвестный мне человек.

— Ты чей будешь, хлопчик? — спрашивает он меня.

Я назвал имя своего отца.

— А, агронома сын!.. Знаю его, знаю... Далече он послал тебя. Ну, бывай, хлопчик!..

И понесся вперед, как раз в сторону той станицы, куда я шел. Я стоял на дороге и думал: почему же он не посадил меня, впереди себя, на коня? Ведь он же видит, какой я маленький и как далеко мне еще идти. Вот тогда он невольно и преподал мне урок. Иногда надо посадить кого-то впереди себя на коня. Особенно если идти ему еще очень далеко... Вот такая история случилась со мной. Ну, поели? Молодцы! Гуляйте. Туча-то ушла. Замах был на рубль, а удар на копейку. Стороной прошло.

Когда вставали из-за стола, Вовка повернулся ко мне и напомнил:

— Ты обещал еще фокус показать.

— Виталик, — тронула меня за локоть Оля, — а можешь показать, как художники рисуют?

— Могу, — сказал я. — Но только я еще не художник.

— Все равно покажи.

Мы устроились на бетонном спуске к Дону. Оля держала банку с водой, а Вовка краски. И я начал рисовать в альбоме закат — самое лучшее, что у меня тогда получалось. Оля смотрит, как небесного цвета синева растекается по смоченному листу и переходит в оранжево-огненную полосу заката и отражается в реке. Я подобрал темный тон, дал кисточку Оле и, держа ее за руку, стал рисовать птиц над рекой, а потом отпустил ее руку, и Оля сама нарисовала несколько птиц в небе. Вовка смотрел, как она рисует, щелкает семечки и думает о чем-то своем.

А потом мы просто сидели и смотрели молча на Дон. Оля обхватила тонкими загорелыми руками колени, ветер чуть шевелил ее светлые волосы, а в глазах золотыми искорками отражалось заходящее солнце. Она сидит так близко ко мне, что я слышу, как у нее во рту, между зубами, перекатывается леденец. А когда она говорит что-нибудь, ее дыхание тоже пахнет леденцом.

— У меня есть деньги на три порции мороженого, — сказал Вовка. — Побежали?

И мы втроем понеслись вниз по бетонному спуску к реке. Вовка с Олей сразу же обогнали меня и затерялись в пестрой толпе гуляющих вдоль реки людей. Я шел по набережной, искал их и наконец увидел. Они шли мне навстречу с тремя порциями, моего любимого «Ленинградского» мороженого.

Прощание

Дядя Коля часто приезжал к нам в гости. Я хорошо помню его последний приезд и, особенно, день отъезда от нас, когда мы с папой пошли проводить его на вокзал.

До прихода поезда оставалось много времени, мы зашли в зал ожидания и сели на лавку. Ни папа, ни мой дядя не знали тогда, что расстанутся навсегда. Никогда больше они не увидятся. Через несколько лет один за другим они уйдут из жизни.

В тот день в зале ожидания они говорили мало, словно все уже было сказано. Наконец подошел поезд, можно было встать и взять вещи. А потом было прощание и обычные слова, которые люди говорят друг другу, прощаясь.

Только годы спустя я подумал о том, что расставались они навечно. Но как же было все просто и обыденно в тот особенный день. Неужели какие-то неведомые

нам силы не дают людям, даже помимо их воли, в такие мгновения сказать друг другу что-то особенное?

Но не было в их словах тогда ничего особенного. Так мне казалось. И только много лет спустя я понял, что важные слова тогда все же были сказаны. И были они очень простыми. Прощаясь, отец сказал своему брату то, что казалось мне всегда таким обыденным. Он сказал ему:

— Скоро увидимся...

Нарисуй мне лето

Сегодня наш класс начинает рисовать новый натюрморт. Мы занимаем места за мольбертами, передвигаем их, каждый ищет место получше. Преподаватель устанавливает освещение, поправляет складки драпировок, передвигает на постаменте глиняный кувшин, яблоки, черный хлеб, красные перцы, большие деревянные ложки. Удовлетворенно оглядев результат своей работы, он, потирая руки, выходит из мастерской.

Варя, проходя мимо Нади, занятой выдавливанием масляной краски на палитру, высоко задрала ей юбку. На миг стали видны черные трусики и стройные светлые ноги. Надя бросила палитру и побежала за удирающей Варей в коридор. Оттуда донеслись визг настигнутой Вари и хохот ребят из других классов.

Через несколько минут Варя вернулась с Надей в мастерскую. Она сердито потряхивает каштановыми кудряшками, ее темно-карие глаза гневно сверкают.

— Ты что, Надька, дура? Ты мне чуть не до пояса платье задрала!

— Вареничек, так я же тебе рекламу сделала! Знаешь, как ты всем понравилась!

— Очень прямолинейная реклама! — ворчит Варя и, прикусив пухлую нижнюю губку, становится за свой мольберт.

Она долго не может успокоиться. Я вижу ее разгоряченное лицо, вижу, как она разглядывает натюрморт, потом берет тонкую невесомую палочку угля и проводит по холсту несколько линий, набрасывая плоскость стола. Ее маленькая ручка с индийским перламутровым браслетиком со слониками порхает над холстом, и на нем проступают очертания кувшина, плавностью линий напоминающего женский торс, складки драпировки и яблоки. Косыми штрихами она обозначает тени и подчеркивает чуть сильнее правильно найденные линии. Она рисует с такой скоростью, что кажется, рука ее не касается холста, а изображение на картине появляется само по себе.

— Варька, ты мне тоже нравишься, — слышится голос рисующего рядом с ней Сергея. Он подмигивает Варе из-за своего мольберта, а она еще сердитей сверкает глазами.

— Что-то я не заметила этого на практике, — говорит она, поглядывая то на свою работу, то на натюрморт. — Зато видела тебя с деревенскими девчонками. Там, у реки, вся травка была примята!

— Так мы просто в волейбол играли.

— Видела я у них те мячики!.. У кого есть кадмий? Надя, дай мне кадмий, и я тебе все прощу.

— Бери, Вареничек. Ты же знаешь, как я тебя люблю! — улыбнулась Надя и подошла с тюбиком краски к Варе.

Дверь открылась, и вошел наш молодой преподаватель-практикант. Это был студент пятого курса Академии художеств, и занятия с нами были для него педагогической практикой. Видя волнение, с которым он проводил свои первые занятия, Варя с первого же дня стала его всячески смущать и, похоже, добилась своего. Подошел он к ней только после того, как осмотрел все остальные работы. Он остановился за ее спиной, и трудно было понять, смотрит он на картину или на непокорные Варины кудряшки.

— Варя, — начал он чуть хриловато и откашлялся, от чего она, стоя к нему спиной, чуть улыбку, — очень хорошо работаешь, но ты маслом пишешь как акварелью. У тебя все растекается, вон даже по мольберту краска течет. Масло есть масло, надо использовать его возможности, которые, собственно, и отличают его от акварели.

— Разве у меня плохо получается? — нахмурилась Варя.

— Нет, ты очень хорошо работаешь. Я даже заметил, что ты можешь рисовать не глядя на холст. Я такого еще не видел! Мы как-нибудь проделаем эксперимент: завяжем тебе глаза, и ты будешь рисовать не глядя. Знаешь, как ночной полет. Будешь идти по приборам, — сказал он и рассмеялся своей собственной шутке.

Варя провела руками по своей груди, округлым бедрам, полуобернулась и посмотрела на преподавателя чуть затуманенным взглядом.

— Можно попробовать. Но мною нужно все же как-то... управлять.

— Эх, Варя, если бы тебе удалось свой темперамент излить на работу, то получился бы шедевр, — сказал он, глядя на нее с улыбкой.

— Так я же и изливаю! А вам не нравится, как краска по мольберту течет...

— Ну, работай, тебя не переспоришь. Продолжайте, — сказал он классу, направляясь к двери.

— Приходите еще, — говорит ему вдогонку Варя.

Надя стоит возле меня. Прямые русые волосы она собрала на затылке заколкой в виде золотой бабочки, ее сетчатые крылышки чуть подрагивают, когда она наносит на холст быстрые мазки. Если обратиться к Наде с вопросом, то она взглянет чуть удивленно, словно мысленно говорит: так вот ты какой! В профиль она выглядит строгой, серьезной, но если встретиться с ее задумчивым взглядом, то повеет от нее чем-то таким таинственно-кошачьим, что невольно думаешь и о ней: так вот ты какая!

Уголь пачкает пальцы Нади, и сыплется вниз черная пыль. Она наносит рисунок легкими касаниями, а если линия не удалась, стирает ее с холста тряпкой. Поверхность туго натянутых, загрунтованных холстов чуть звенит, вибрируя под палочками угля.

Олег в углу мастерской набрасывает рисунок карандашом, ему удастся все сразу правильно разметить, но остальные так не делают, так как карандаш сложнее стереть. Напротив я вижу светловолосого Николая. Ему удастся делать работу законченной, оставляя большие части холста в стадии подмалевка, что делает работу похожей на полотна Лотрека. Сегодня он прошелся водоземлемой краской по складкам драпировки на картине, а когда она высохла, сделал тонкий подмалевок маслом. Получилась очень красивая фактура, словно подлинная структура ткани. Мы попробовали тоже это повторить. Преподаватели одобряют подобное, так как считают, что не столько они учат нас, сколько мы сами учимся друг у друга.

Чем дальше идет работа, тем тише становилось в мастерской. Сейчас самая серьезная стадия — переход от подмалевка к готовой работе. Вскоре на наших холстах уже сверкают кувшины, горят красные яблоки и аппетитно выглядит хлеб с надтреснутой подпеченной корочкой.

Перед уроком композиции я помогаю Наде натягивать холст. Она подтягивает его плоскогубцами, а я прибиваю холст к подрамнику маленькими гвоздиками.

— Натяни вот здесь. Чувствую, что мы не успеем, сейчас звонок будет, — говорит Надя. — А что ты сейчас читаешь? Хочешь, я тебе Паустовского принесу? У меня есть в одном томе его лучшие рассказы.

— Я люблю Паустовского, принеси.

— А какая твоя самая любимая книга?

— «Степь» Чехова, — ответил я. — Это для меня даже не книга. Это... мой друг. Я если простужаюсь зимой, то ничто меня так не лечит, как эта книга. Взяв ее в ру-

ки, ты переносишься в лето, в степь, становишься совсем маленьким и едешь-едешь по бескрайним просторам. Я эту повесть перечитываю постоянно. Столько сил дает эта вещь!

— А у меня нет любимой книги, — сказала она. — Я ее еще не нашла. Ты знаешь, мне кажется, что все великие писатели были в каком-то смысле колдунами. Это ведь магия — заставить читателя видеть картины, которые ты пожелаешь. Писатель проникает в сознание человека, вызывает в его воображении определенные образы и мысли. Что касается последнего, то тут Агате Кристи не было равных.

— Да, думаю, что есть какая-то доля внушения.

— Вот-вот! Но самое интересное, что секрета этого внушения мы никогда не сможем открыть. Представь, что ты рассматриваешь большую картину, чуть ли не прижавшись носом к холсту. Ты видишь отдельные мазки, но не видишь целого. А когда отойдешь далеко, то видишь всю картину целиком и не видишь уже мазков. Не видишь, как это сделано.

— И что это значит?

— Что это значит?.. Переверни подрамник... Это значит, что когда мы вглядываемся в текст, пытаюсь понять его секрет, то мы словно прижимаемся носом к холсту и видим мазки, то есть — слова, фразы... Понимаешь? Мы анализируем, но не видим уже образов. А когда перестаем анализировать и просто отдаемся чтению, то тут же возникают в воображении картины. Мы как бы отошли от холста, на нем появилась жизнь. Поэтому тайну искусства разгадать нельзя.

— Кто-то однажды сказал, чтобы понять Лао-цзы, надо быть — Лао-цзы. На гения нужен гений — свой Белинский. Жаль, что его сейчас нет.

— Заскучал бы сейчас Белинский.

— Мы еще поговорим об этом. А знаешь, у меня тоже есть одна догадка, что с литературой все не так уж просто. Заметила, проходят века, меняются моды, стили архитектуры, техника, вся жизнь резко меняется, а книга какой была столетия назад, такой и осталась. Корешок, две обложки и внутри книжный блок с закладкой. Никто и ничего не смог в книге изменить за все века. Ни один гений ничего нового в строение книги не привнес. И даже не пытался. Пройдут еще столетия, а книга так и останется книгой.

— И почему? — прошептала Надя.

— Вот тебе еще одна тайна...

Преподаватель по композиции, плотный, низенький и лысый, каждый раз появляется в мастерской с радостно-удивленным взглядом, словно не ожидал нас здесь увидеть, но вот увидел и очень этому удивлен. Он посмотрел на эскизы композиции, которые перед ним на полу разложила Варя, и поморщился. Эскизы лежат в прямоугольнике солнечного света, падающего из окна. В светящемся луче, рассекающем мастерскую, словно маленькая вселенная, летают пылинки. Я дунул, и пылинки закружились.

— Варя, — сказал преподаватель, — все это неплохо, но знаешь, не надо рисовать никакую стройку, а давай так — нарисуй мне лето. Да-да. Сделай картину, чтобы чувствовалось лето. Напишите эту картину вместе с Надей. Это будет любопытно. Вы работаете совершенно по-разному, тем интереснее. Так вот, ставлю перед вами обеими задачу — написать картину, но чтобы не чувствовались две руки, а был бы единый сплав. Даю вам неделю. Не забывайте, что потом ваши работы будут выставлены на полугодовой выставке. И подумайте о названии. Надеюсь, это не слишком невозможное для вас задание?

— Невозможных заданий не существует, — бойко ответила Варя.

— О! Ты тоже знаешь эту историю про Наполеона и солдата? — заметил преподаватель.

- Эх! Не удалось блеснуть! — вздохнула Варя.
- Не надо блистать. Подумайте о совместной работе.

Из художественной школы мы часто возвращались вместе с Надей, так как жили неподалеку в Юрмале. Варя сегодня тоже поехала с нами. Как только мы заняли места в вагоне электрички, она тут же расстегнула свою большую спортивную сумку.

— Ну что, гаврики, хотите по бутерброду с сыром? — сказала она, протягивая нам сверток. — Что бы вы без Вари делали! А если будете хорошо себя вести, дам каждому по пакету леденцов и покатаю на ослике.

— Эх, Варька, отдохни, успокойся! — сказала Надя, кусая бутерброд.

— Покой нам только снится! — ответила та, достала яблоко и откусила от него большой кусок. — ...Айте ...час ...дем ...оре, — сказала она с набитым ртом. Капельки яблочного сока блестели на ее маленьких красных губах.

— Что? — засмеялась Надя.

— Давайте... сейчас... пойдём на море.

Мимо с грохотом пронёсся встречный поезд, и снова замелькали за окном перелески и поля. Варя снова порылась в сумке и достала большую книгу.

— Смотрите, что я купила на последние деньги — Ван Гога. Здесь все его картины. И это — правильно! Ван Гога надо покупать на последние деньги.

— Покажи, — придвинулась к ней Надя. Они обе сидели напротив меня, заходящее солнце заливало их из окна электрички оранжевым светом, и поблескивал браслет со слониками на Вариной руке, когда она переворачивала страницы.

— Надька, — придвинулась она головой к голове подруги, разглядывая репродукцию, — попробуй представить себя в середине любого его пейзажа. Забудь, что это картина. Представь, что ты стоишь там, в той реальности, совершенно одна, как и он стоял когда-то. Ты чувствуешь, какое он испытывал одиночество? Вот здесь он нарисовал двор лечебницы. Посмотри на этот сад, полоску заката, лавочку под деревом. Представь, что ты там стоишь и нет у тебя ни дома, ни семьи, ни друзей... Ничего у тебя нет, кроме брата, которому хочется рассказать обо всем этом. Это не картины, как многие думают, а живописные письма к брату, которые он, кстати, так и подписывал — просто своим именем.

— Ему было очень плохо, — сказала Надя. — Каждая картина словно шепчет: мне плохо, мне одиноко! Или вот в этом поле с черными воронами, я чувствую, как он говорит: «Мне страшно!» А эта морская вещь как мне нравится! Здорово он передал ветер, летящий песок, волны, далекие фигуры у воды! Он рисовал с вершины дюны, смотри какой ветер, как треплет одежду женщин у воды. Я уверена, что в краску набилось много песка. Помнишь, у нас так тоже было в ветреный день у моря — вся работа была в песке? У него такие нервные, дробные мазки. Пытаюсь представить, что я должна была бы чувствовать, чтобы так бить холст кистью...

— Он спешил, — вздохнув, сказала Варя. — Надька, он был несчастный человек. Я читала, что когда к нему, смертельно раненному, после попытки самоубийства приехал брат, Ван Гог, как только тот открыл дверь, из постели сказал ему: «Видишь, да же это у меня не получилось!» Ведь этими словами он говорил, что считает себя неудачником. И это-то Ван Гог!

— Варька, успокойся!.. Ну что ты!.. Успокойся! Отвлекись... Посмотри, какая у тебя маленькая и красивая рука.

— Ну и что? Вся перепачкана в краске! Не отмывается...

— Пальчики такие детские...

— Шершавые от разбавителя. Ведь я все время масляную тряпку держу в руке. А вот правая рука, которой рисую, лучше.

— Как повезет кому-то, кого ты будешь гладить! Такое разнообразие — у него будут две руки, два ощущения на выбор.

— Не издевайся, Надька! Никого я не собираюсь гладить!

— Как насчет нашего преподавателя? Голос у него становится хриплый, когда он к тебе подходит. И без конца в карман пиджака руку засовывает, хотя я уверена, что там ничего нет.

— Уж только не он, — отрезала Варя.

— А кто?

— Варианты рассматриваются.

— Виталик, — повернулась ко мне Надя, — ты слышал, время для подачи заявок еще не истекло.

— Надька, посмотри на эту картину, вот на этот уголок. Обалденное сочетание цветов!

— Очень красиво!

— Представляешь, такой топик к лету? Или юбку с такой расцветкой! У меня есть знакомая девчонка на текстиле в академии, она может ткань покрасить, как здесь у Ван Гога, один к одному.

— А мне?.. Я тоже хочу топик!..

Мы устроились под дюнами. У самой воды играют в песке малыши, и кружатся над ними чайки. В зависимости от разворота к солнцу чайки были то белые, то темные на фоне голубого неба. Мы лежим на драпировке, которую Варя предусмотрительно прихватила из мастерской, и смотрим в небо.

— У вас такое бывает, — спросила вдруг Варя, — что вдруг без всякой причины чувствуешь невероятное счастье? Очень недолго, а потом чувство мгновенно проходит, и ты не можешь понять, что это было. Может, подумал о чем-то хорошем? Но нет. Не было никаких особенных мыслей. Так что же это было?

— И часто такое с тобой бывает? — спросила Надя.

— Нет, всего-то пару раз. И вот сейчас, только что, я это почувствовала. Я просто лежала, смотрела в небо и вдруг почувствовала радость. Или, вернее, я почувствовала, что ничего больше ждать не надо. У меня все уже есть для того, чтобы быть счастливой. Надо только понять это, почувствовать.

— Варя, ты такая смешная, когда философствуешь. Ты мне больше нравишься, когда задираешь мне юбку.

— Послушай, — сказала, чуть подумав, Варя, — но что же мы нарисуем на нашей с тобой картине? У нас всего неделя. У тебя есть идеи?

— Нет, — ответила Надя. — Совершенно пустая голова.

— Надька!

— Что?

— Да вон же наша композиция бегают! Представь — вся картина заполнена ребятней. Все в капельках воды после купания в море, но море не будем показывать. Это будет слишком прямолинейно.

— Откуда же станет понятно, что они у моря, если его не видно? Промокнуть они могут и под дождем.

— Надя, а чайки на что?

— Отлично! И что, вся картина в ребятне?

— Вся.

— Но не будет ли пестро? Я сейчас представила, сколько лиц, глаз, носов, рук, ног, теней.

— Дадим их силуэтом, против солнца, это все обобщит, только песок будет бросать на детей снизу теплый рефлекс. Представляешь, Надя, как красиво может получиться?

— Как назовем?

— Надя, ты только что сказала название! И так, представь, вся картина в детворе, капельки воды блестят на мокрых телах, у всех мокрые волосы, ветер треплет их, блестят глаза, зубы, у девочек поблескивают в ушках маленькие золотые сережки. Есть такие смешные маленькие девчонки, совсем голые, с золотыми сережками. И над всем этим чайки, то светлые, то темные, как сейчас над нами. Вся картина заполнена мокрой голой детворой и чайками на голубом небе...

— Но название? И почему все дети собрались вместе?

— Я к этому подхожу. На первом плане у нас будет сидеть маленький мальчик с собакой. Должно быть видно, что собака лохматая, бродячая, на ней ошейник с обрезанным поводком. Мальчик касается рукой собаки... она, высунув язык, смотрит на него... А название картины будет таким — «Как назовем?».

Надя улыбнулась.

— Здорово! Откуда ты этого мальчика с собакой взяла?

— Да вон сидит у воды! Я, как его увидела, сразу поняла, он должен быть на картине. Давайте, пока все это у меня в голове, пойду и зарисую детей в блокноте, — предложила, поднимаясь, Варя. — Я так хорошо все вижу... во всех деталях. Картина в моей голове совсем готова и висит на гвоздике. Вот здесь девочка... Я вижу, как она подняла руку, и солнечные лучи светят между ее пальчиками...

И Варя стала водить перед собой рукой, сжимающей воображаемый уголь, рука движется в воздухе плавными линиями и вдруг останавливается перед ее лицом. Варя смотрит на свою ладонь и приседает рядом с Надей.

— Надя, а что, действительно неприятно, когда я вот так рукой по тебе провожу? Шершавая, да?.. Что ты улыбаешься? Я же серьезно спрашиваю! Что вы оба смеетесь?!

И тут Варя улыбнулась и засмеялась вместе с нами. Она казалась в этот миг такой счастливой, сидящая против солнца, с золотой солнечной каймой, горящей на ее темно-каштановых кудряшках.

Разогнавшийся автобус

Салон второго этажа автобуса международных линий. Неподалеку от меня, через проход, сидит молодая женщина и, глядя на себя в зеркальце, красит губы. Мальчик лет пяти положил на ее колени, обтянутые джинсами, раскрытый альбом для рисования.

— Мама, посмотри, какой я домик нарисовал.

— Денис, подожди, — отмахнулась женщина.

Теперь она внимательно рассматривает в зеркальце свои глаза. Проходящий мимо молодой человек случайно задел рукой ее плечо, он пошел дальше, а она, чуть расширив глаза, оглядела его фигуру и чуть облизнула губы.

— Мама, ну посмотри же! Посмотри на наш домик. Мама, нарисуй рядом с домиком кладбище, где папа похоронен...

Скоро автобус тронется, и останется только в воспоминаниях мое путешествие в Болгарию. Место рядом со мной все еще пустует. Я откинул свое сиденье и, посмотрев в окно, увидел комок заледенелого снега, медленно скользящий вниз по стеклу. Он цепляется за поверхность стекла хрупкими кристаллами льда, они тают, лопаются, и лед все быстрее скользит вниз. И я вдруг подумал: а ведь ничто уже не может оста-

новить этот лед. Никакие уговоры, слезы, доказательства, мольбы не остановят его. Вот так, наверное, и выглядит неизбежность. Я отвернулся от окна, зная, что, дойдя до самого низа стекла, комок белого снега упадет на грязный асфальт.

В кресле рядом со мной появилась попутчица — девушка лет двадцати. Она тоже из Риги, и мы быстро нашли с ней общий язык. Она скинула высокие ботинки со шнуровкой и, натянув на ноги толстые шерстяные носки, с облегчением откинулась на спинку своего кресла.

Если бы я был режиссер и снимал фильм о «плохой девчонке», сбежавшей из дома, то я выбрал бы ее на главную роль. Рыжие, искусно включенные волосы, дерзкие синие глаза, прямой носик, усыпанный веснушками. Кожа лица, шеи и рук — белая и такая тонкая, что голубые жилки просвечивают.

Денис, сидящий неподалеку от нас, с таким чудесным произношением запел «We are the world, we are the children», что англоязычная пара, сидящая перед нами, переглянулась.

— Замолчи, — сказала ему мать и со щелчком закрыла зеркальце в перламутровой оправе.

— Почему ты не даешь мне петь? Это моя любимая песня!.. — возмутился мальчик и сердито отвернулся к окну.

По узкому проходу пробираются муж и жена — японцы лет шестидесяти. Они топяются занять свои места. Муж быстро что-то сказал жене по-японски. Денис, все еще обиженно прижимаясь носом к окну, тут же повторил фразу, копируя заодно и голос японца.

Моя соседка, как впоследствии выяснилось, Лена повернулась ко мне с улыбкой.

— Это не ребенок, а настоящее записывающее устройство, — сказала она.

— Я надеюсь, что ночью «устройство» будет спать, — ответил я.

— Ты думаешь, нам удастся в этих креслах заснуть? Я не первый раз еду. Это будет не сон, а временные потери сознания, — усмехнулась она. — В первые сутки еще куда ни шло, но на вторую ночь все будут устраивать в креслах такую камасутру! Какие только позы тут не увидишь!

Автобус быстро летит по зазеленелой трассе, на поворотах чуть притормаживает, но, выйдя на прямую линию дороги, снова устремляется вперед. Через час мы останавливаемся на границе. Проверка паспортов. Мы с Леной видим через окно толстого пограничника в черной форме. Рукоятка пистолета оттопыривается на правом бедре. На голове черная шапочка. Он похаживает между машинами, долго с недовольной миной выговаривает что-то каждому водителю, после чего отпускает его.

— Как мне не нравятся такие типы, — сказала Лена. — Важный и самодовольный! Чего он водителям так долго мозги компостирует? Все равно же потом все они едут дальше.

— Да, — согласился я. — Интересно, что он им говорит.

— Я сейчас дубляж сделаю, — предложила Лена. — Вот смотри, подъехала машина.

Пограничник враскачку, медленно приблизился к машине и резко открыл переднюю дверцу. Из салона машины на асфальт посыпались пластиковые бутылки колы. Пограничник и не думает их поднимать. Мне кажется, что он сейчас наступит на них своими черными армейскими ботинками. Не найдя на переднем кресле ожидаемых ящиков с боеприпасами, он недовольно подошел к задней дверце, распахнул ее и недобро посмотрел на трех небритых мужчин на заднем сиденье. Они сидели с такими лицами, что казалось, сейчас запоют хором «Ave Maria». Пограничник хмуро обратился к ним.

— Кто-нибудь в морду хочет? — продублировала его Лена.

Все трое мужчин на заднем сиденье отрицательно помотали головами и виновато улыгнулись.

— Нет? А жаль! — продолжила Лена говорить за пограничника.

Он начал было закрывать дверь, но вдруг снова ее резко открыл и грозно обратился к ближайшему мужчине.

— Я, кажется, услышал, что ты хочешь? — произнесла Лена.

Но пассажир торопливо помотал отрицательно головой.

— Очень похоже, — сказал я Лене. — Но это единственная такая граница, все остальные мы будем так пролетать, что и не заметим.

— Что-то мне колы захотелось, — сказала Лена. — В Братиславе будет большая остановка. Надо будет купить.

В салоне автобуса включили телевизор, и начался американский фильм на русском языке с субтитрами. Я рассеянно смотрел в окно на проносящиеся поля, автозаправки и рекламы на обочинах дорог. Теперь только по языку на рекламах мы будем видеть, по территории какой страны мы едем.

Начинает темнеть. Когда мы проезжаем через небольшие городки, стекла окон озаряются светом мигающей рекламы. А когда едем среди полей, то только звезды сияют в небе и светит луна.

Неподалеку, через проход, сидят парень и девушка. Им лет по восемнадцать, они из Венгрии. Всю дорогу они неразлучны. Мне нравится, как парень смотрит на свою девушку — его взгляд очень теплый и ласковый, движения их неторопливы и заботливы. Когда она хочет поспать, он уходит вперед на другое место, чтобы она могла устроиться на двух креслах. Мне нравится, как он приносит ей попить и как она дает ему что-то поесть из своих рук. В салоне автобуса выключили весь свет, посмотрев на часы, я вижу, что уже два часа ночи. Девушка-венгерка сидит у окна, становится прохладно, и парень накрыл ее пледом.

В салон периодически врываются вспышки желтого, красного и голубого света от неоновых щитов вдоль дороги. А потом идут заснеженные поля с редкими огоньками на горизонте. Автобус, прибавив газа, еще быстрее устремляется вперед по шоссе.

Мы с Леной включили ночник над головами и перекусываем бутербродами, попивая колу, которую купили в Братиславе.

— Спать что-то не хочется, — сказала Лена. — Почитать, что ли.

— Что у тебя за книга? — спросил я, кивнув на толстую книгу в сетке на спинке переднего сиденья.

— «Айвенго».

— Я когда-то давно читал. А знаешь, Вальтер Скотт был великий мистификатор. Сейчас не все знают, но свой первый роман «Уэверли» он написал как Аноним, и на обложках всех последующих его романов стояло, что написал это автор «Уэверли». Скотт написал половину своего собрания сочинений, уже были написаны «Айвенго» и «Квентин Дорвард», но никто в мире, кроме одного его доверенного друга, который помогал с публикациями, не знал, кто автор этих книг! Он планировал даже после своей смерти оставить тайну нераскрытой. Но другу Вальтера Скотта удалось убедить его, и авторство было раскрыто.

— Странные эти гении! — сказала Лена. — А что у тебя за книжка?

— Да вот томик Рембо прихватил, но, похоже, зря — за окном интереснее.

— Я не читала Рембо, но слышала про него. Он, кажется, бросил писать в восемнадцать лет и, прожив до тридцати семи, не написал больше ни строки.

— Да, — кивнул я. — Мало того, что бросил писать, он уехал в Абиссинию, в какую-то глушь, где потом заболел и невыносимо мучился. Он жил в этой глуши, как

ему казалось, всеми забытый. Это ужасно, но он так и не узнал, что его уже давно издают большими тиражами, слава о нем гремит во Франции и других странах. Не знал, что его ищут, не знают, куда он пропал.

— Почему гении такие странные? — произнесла Лена. — Ведь вроде умные же люди.

— Гениальный человек — это не значит, что это очень умный человек. Гений — человек с особым, неординарным, отличным от всех мышлением. Такие люди редко бывают счастливыми и благополучными, потому что выходят из общей колеи, где более-менее безопасно. Они стремятся выйти за рамки привычного, а значит — безопасно. Они — нарушители закона.

— Но почему же Рембо перестал писать стихи?

— Могу сказать только одно: он сам предсказал себе это. Стихотворение так и называется — «Предчувствие».

И, открыв томик, я прочитал Лене стихотворение Артюра Рембо:

Глухими тропами, среди густой травы,
Уйду бродить я голубыми вечерами;
Коснется ветер непокрытой головы,
И свежесть чувствовать я буду под ногами.

Мне бесконечная любовь наполнит грудь.
Но буду я молчать и все слова забуду.
Я, как цыган, уйду — все дальше, дальше в путь!
И словно с женщиной, с Природой счастлив буду.

— Мне нравится, — сказала Лена.

— Заметила, как точно он сказал: «И словно с женщиной, с Природой счастлив буду».

— А что в этих словах особого?

— Рембо гениально уловил, что мужчина — очень жесткая структура. Мужчина очень конкретный, определенный.

— А женщины разве не такие же?

— Нет. Они другие. Женщина — воплощение природы и всех ее свойств, что и отметил Рембо. В природе нет ничего определенного, окончательного, там все в движении. Все переходит из одного состояния в другое. Женщина может принять любую форму, она изменчива и текуча. Одна и та же женщина с разными мужчинами будет разной. Об этом Чехов написал свою «Душечку». Мужчина обнимает женщину, считает, что она принадлежит ему навеки, но обнимает он — солнечный луч, ветер, струю воды... Женщину надо любить, как любим мы летний ветер. Мы же не думаем засунуть его в карман и застегнуть на молнию. Мы вдыхаем его и счастливы.

— Но хочется же — навсегда!..

— А разве жить мы будем всегда? Но ты права. Конечно, хочется...

Ночь. Лена спит в кресле рядом со мной. Стало прохладно, и мы накрылись моей дубленкой. До этого горел слабый ночной свет, но теперь нет и его. Спина затекла от долгого сидения. Может, стюардесса не спит, и тогда можно будет чай заказать. Хочется чего-то...

Покачиваясь из стороны в сторону от движения автобуса, я осторожно пробрался по проходу салона среди спящих пассажиров, в третий раз уже стукнулся головой о выступающий плафон светильника на потолке и спустился по лестнице в салон первого этажа.

Передо мной пустой, темный салон автобуса, несущегося по сверкающей в темноте от света фар трассе. В одном из кресел спит стюардесса. Поперек двух разложенных кресел спит второй водитель. А в самой глубине салона — сверкающая россыпью огней приборная панель. Она словно звездное небо. И тут я увидел водителя, увидел его спину и крепкие руки, лежащие на руле. Он кажется мне неподвижным. Может, он заснул? Но нет. Он бросил быстрый взгляд на большие электронные часы над лобовым стеклом, и прибавил газа. Когда появляются огни встречной машины, он включает дальний свет, чтобы не ослеплять встречного водителя, а потом снова включает его. Автобус несется все дальше и дальше, и не спит в ночи только один человек, от которого зависит — проснемся ли мы все завтра.

— Что-то мне нехорошо, — сказала Лена, когда я вернулся.

— Что случилось?

— Тошнит. Мне надо скорее в туалет.

Лена быстро поднялась и, зажав рот рукой, побежала назад по салону автобуса. Вернулась она минут через десять, бледная, с заплаканными глазами.

— Как мне плохо! — прошептала она. — Мне сейчас плохо, как Рембо в его Абиссинии.

— Что с тобой?

— Виталий, я была сейчас там внизу... мне жить не захотелось!..

— Что случилось? Успокойся, сейчас подумаю... Тебе нужно что-то кислое. Я сбегаю к стюардессе, в холодильнике есть фанга и лимон-лайм.

— Представь, я зашла в этот туалет, меня тошнит, морозит, а там... холодина! Виталий, там такая холодина, что вода на полу замерзла, и ноги мои разъезжались, когда автобус покачивался...

Лена беззвучно плакала, закрыв рукой лицо. Я повернулся к ней и, взяв другую ее руку, почувствовал, что она липкая.

— Я хотела помыть руки, надавила в ладони мыла, намылила руки, а воды-то и нет... Она замерзла! Я стояла там с намыленными руками... как дура!..

— Успокойся, не плачь!

— Когда я вышла из туалета и закрыла дверь, я вспомнила, что над раковиной было зеркало, — сказала она, посмотрев на меня.

— И что?

— Я точно помню, что было зеркало, но я не помню, чтобы себя в нем видела...

— Успокойся, Лена, у меня есть минералка. Пойдем, помоешь руки. Хочешь, я с тобой пойду? И ты убедишься, что в зеркале будет твоё отражение. Как ты дрожишь! Пошли. Успокойся!

— Какая Вена красивая! — сказала Лена, глядя в окно на проносящиеся дома. — Ночь, а все залито светом! И за окнами так роскошно! У нас будет остановка на целый час. Погуляем?

— Давай найдем ночное кафе, будем потом вспоминать, как ночью пили в Вене кофе.

— Виталий, а что же тогда обнимают женщины? — спросила вдруг Лена, и я не сразу понял, о чем она говорит.

— Ну, тебе лучше знать. Что ты чувствовала, когда обнимала кого-нибудь?

— Совсем недавно я обнимала тебя, когда мне плохо было, — усмехнулась она. — Хотя я, скорее, опиралась на тебя.

— Ну вот и ответ, — улыбнулся я.

В салоне зажегся свет, и прозвучал голос стюардессы на трех языках:

— Через несколько минут автобус прибудет на автовокзал Вены. Продолжительность остановки — один час. Просьба не опаздывать. Наш автобус ждать никого не сможет. Мы опаздываем на три часа. Следующая большая остановка будет в Будапеште.

В Вене вышло много пассажиров, и освободился передний ряд кресел перед лобовым стеклом. Мы с Леной давно поджидали этот момент и тут же заняли места впереди. Автобус прошел через город, пронесся по пригороду, залитому светом, как и центр города, и, выйдя на трассу, резко увеличил скорость. Мы опаздывали, и чувствовалось, что водитель делает все, чтобы двигаться по скользкой дороге как можно быстрее.

Мы полулежали в креслах, перед нами было огромное выпуклое стекло, а за ним — ночь. Казалось, что мы несемся в воздухе высоко над дорогой навстречу летящему в нас снегу.

— Кайф! — прошептала Лена, задрав ноги и опершись ими о стекло. — Все равно что курнула!

— Ясно, чего это тебя тошнило.

— Да ты что! — рассмеялась она. — Что я, дура! Я и не пробовала никогда. Это я obviously, как у Рембо.

— Что это тебя на Рембо так заклинило! Книжку тебе, что ли, подарить?

— Нет, — покачала Лена головой. — Не надо. Эту книгу ты любишь. Я чувствую. И несколько уголков на страницах заломлены. Нет, я сама куплю, прочитаю и постараюсь понять, почему он от всех ушел... От меня вчера тоже мой парень ушел.

Я посмотрел на нее.

— Ищите слезы? — спросила она, прикусив губу. — Не будет ему моих слез... Натерпелась!.. Все!..

Но тут же глаза ее наполнились слезами, они текли по щекам и по шее. Маленькая слезинка крохотной искоркой сверкала на подбородке.

— Ничего мне не говори, — прошептала она, закрыв глаза. — Прошу, ничего не говори! Я должна справиться сама. Говорят, время лечит... стирает все из памяти. А я ничего не хочу стирать! Это мое! Все это нужно было в жизни!..

— Почему ты плачешь? — услышали мы детский голос и увидели Дениса. Он стоял возле нас и сонно улыбался.

Некоторое время Лена отсутствующим взглядом смотрела на него в упор.

— Я поняла, — сказала она. — Ты робот. Вот почему ты говоришь разными голосами и не спишь.

— Взь-зь-зь-зь-чк, — с металлическим звуком Денис поднял руку, коснулся Лены и сказал механическим, бесполом голосом робота: — Привет! Ты кто? Человек?

— Привет! — ответила Лена. — А ты кто?

— Я волшебный робот. Что ты хочешь? Я все могу исполнить.

— Я хочу лета. Хочу моря, хочу счастья, — ответила Лена.

— Я могу сделать море, — сказал Денис своим нормальным голосом. — Могу сделать волны... Вот такие... Бх-х-х-х-х... Так волны бьют в берег. Я на Черном море слышал. А потом... Ш-ш-ш-ш-ш... Так вода уходит в море назад по мелким камушкам.

Денис так точно воспроизвел шум отступающей по камням волны, что мы с Леной улыбнулись.

— Дай я попробую, — сказала Лена. — Ш-ш-ш-ш-ш... Похоже?

— Нет, зубы соедини. Тогда будет похоже.

— Денис, садись между нами, — позвала его Лена. — Вот так. Садись поудобнее. Виталий, давай мы все накроемся твоей курткой. Хватит ее нам по длине? О, тебе только рукав достался? Ну, ничего, ты же «жесткая структура», — усмехнулась она. — О! Какая у тебя теплая куртка!

Мы сидели, накрывшись курткой, и смотрели на снег, разбивающийся о ветровое стекло.

— Денис, — прошептала Лена, — а ты можешь показать чаек? Ну, в смысле, как они кричат?

Мальчик посмотрел на нее и задумался.

— Одну чайку я могу, — сказал он. — А много я не пробовал.

— Хорошо, пусть будет одна. Конечно... Зачем нам много?

Денис подумал и несколько раз моргнул.

— Я все-таки попробую сделать много чаек, — сказал он.

— Я знаю, у тебя получится, — обрадованно прижалась к нему Лена. — Сейчас я закрою глаза, а ты изобрази море, волны и чаек. Сделай, чтобы было, как летом.

И в темном салоне автобуса вдруг с шумом разбилась о камни морская волна и отступила назад в море, шипя по мелким камушкам. Послышался крик чайки, потом второй, а потом... две чайки закричали одновременно, к ним присоединилась третья... и еще... еще кричали чайки.

Лена улыбалась. И улыбались проснувшиеся японцы. А венгерка пыталась присоединиться к Денису, и у нее тоже получился крик чайки. Ее парень рассмеялся и поцеловал ее в щеку. Широко улыбался огромный болгарин, двумя пальцами забросивший мой тяжелый чемодан в грузовое отделение, когда мы селись, и протянувший мне ночью руку, когда я, увидев, что он собирается спать, сказал ему: «Лека ноц!» Проснулась мама Дениса и, прогоняя сон, провела ладонями по лицу, проверяя, все ли на месте. Все пассажиры проснулись в салоне и с удивлением слушали «лето у моря», которое подарил нам зимней ночью в разогнавшемся автобусе маленький мальчик по имени Денис.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Хорошая ночь для полета

Летняя ночь. Мне семь лет. Я лежу в постели на втором этаже нашего дома и прислушиваюсь к ровному шуму моря. Сегодня хорошая ночь для полета.

Я закрываю глаза и вижу себя выходящим в наш двор, окруженный соснами, иду босиком по росистой траве и поворачиваюсь лицом к своему дому. Так я стою несколько мгновений, но вдруг чувствую, что пора, и развожу руки в стороны. На моей спине появляется невидимое мне, странное снаряжение для полета, которое подчиняется мысли, а на руках я вижу подобие крыльев. Я начинаю подниматься в ночное небо. Подъем медленный, и это для меня важно, так как я должен увидеть сверху крышу нашего дома и должен увидеть море, но не для того, чтобы проститься с ними. Нет, они нужны мне как ориентир, к которому я поворачиваюсь спиной и смотрю теперь во тьму. Смотрю строго на юг, в сторону цели...

Я сжимаю кулаки и, почувствовав рывок, тут же набираю чудовищную скорость. Ревущая тьма необозримых пространств несется подо мной, и вдруг удар в грудь теплой воздушной волны. Я останавливаюсь высоко в небе и вижу теперь ясно свою цель. Я вижу Черное море. Оно, в отличие от моего северного моря, блестит в лунном свете, покачивается, дышит...

Я медленно опускаюсь на мелкие камешки берега, все еще хранящие тепло солнца. Выкатываются на берег волны, темнеет на фоне звезд гора, мерцают звезды...

Сегодня, спустя много лет, я вспоминаю ночные полеты своего детства. Вспоминается мне и то, что я никогда в этих грезах не возвращался назад домой. Это был всегда путь в один конец. Полеты эти для меня и сейчас тайна, и они вовсе не кажутся мне пустяком. Как много в них непонятного! Ведь воображение беспредельно, в мире фантазии все возможно. Так почему же я чувствовал на себе тяжесть снаряже-

ния для полета, тяжесть, которая исчезала только на огромной скорости? Зачем это было мне нужно?..

И еще тайна: почему я, живя у самого моря, видя его каждый день, в ночных полетах избирал своей целью всегда одно и то же — другое далекое море? Что я хотел там найти?

Пытаясь найти ответ, я снова вспоминаю стремительный полет и потом себя, сидящего ночью в одиночестве на берегу. Почему мне хотелось быть там ночью? Что я чувствовал тогда? Может, счастье? Радость, восторг?.. Нет, я не чувствовал ни счастья, ни радости, ни восторга. Никто меня здесь не ждал, и я тоже никого не ожидал здесь встретить. Да и не думал я тогда ни о каком счастье, потому что к счастью может стремиться только тот, кто несчастлив, а детство у меня было счастливым.

Дети не задумываются над своими действиями. Они все еще близки к природе, они живут глубинными импульсами, и я, будучи ребенком, не давая себе в этом отчета, подобно птице в долгом перелете к родному гнезду, следовал безошибочному внутреннему навигатору, подчинялся единому со всем живым Закону и точно шел к цели.

И я снова вспоминаю, как сидел в ночи у Черного моря, видел волны, звезды, горы, вдыхал полной грудью ночной воздух, но не чувствовал больше себя самого. На этом берегу я сам по себе не имел уже никакого значения. Я растворился в мире, стал этим миром. И значение отныне имел только весь мир.

На этом ночном безлюдном берегу я находил покой и чувство слияния, прозревая, что путь будет огромен, пролегать будет во тьме и промелькнет, как один миг.